



КАЛОРИЯ

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

Этим летом я писал заметки, или, как еще говорят, документальную повесть об одной не очень большой, но и не маленькой фабрике, выпускающей рояли и пианино. Я брал интервью у директора и у столяра, у фортепьянного мастера и у навивщика струн, у старого рабочего и молодого рабочего. И в общем, можно бы точку поставить, но чего-то мне не хватало — концовки, изюминки. То есть не изюминки, а резонансной елки недоставало в моих записках: из этой елки делают деку фортепьяно, а в деке материальная, что ли, основа, субстанция музыки.

Резонансная елка растет на севере Вологодчины, в Харовском районе. Главой о харовской елке, так мне казалось, можно завершить записки. Но кончилось лето. Зимю жизнь замирает не только в еловом лесу, но даже и в душе повествователя, привычного к странствиям, воцаряется любовь к домоседству.

Настало новое лето, и мысль о резонансной харовской елке, из которой делают чуткие деки фортепьяно, вдруг неожиданно укалывала, как мысль о неотданном долге. Вот тут-то и зазвонил телефон. (Прямо по Корнею Чуковскому: «У меня зазвонил телефон...»)

Позвонил мне из Вологды писатель Василий Белов:

— Я еду в деревню, в Тимонику, — сказал Василий. — Если хочешь, поедем. В избе места хватит. На озеро сходим, рыбы поймаем. Баню истопим. Посмотришь, как мужички наши живут вологодские... Правда, немного их осталось, но есть. Пока что есть...

— А как добираться-то в твою Тимонику?

— До Харовска на архангельском поезде. Поедешь — телеграмму дай, тебя в Харовске встретят, свезут...

Вот как повернулось или, лучше сказать, повезло. Именно в Харовск, к харовским резонансным елкам, кото-

рых недоставало в записях этого лета, мне открывалась теперь зеленая улица: «встретят, свезут». И не к елкам свезут, а к Василию Белову, с которым в последний раз мы гуляли не где-нибудь, а в Латинском квартале, в том самом Латинском квартале, где можно гулять делко за полночь, не сознавая позднего времени, ибо гулянье в Латинском квартале не унимается до утра...

Так вышло: гостиница, где жила наша туристская группа — «Сите-Бержер», — находилась неподалеку от вечно гуляющего Латинского квартала: сначала вверх по улочке Рю-Монмартр, затем налево по большому кольцу бульваров до улочки Сен-Дени и по улочке этой, не то чтобы напрямик, слегка вихляя, согласно извивам улочки Сен-Дени, — до берега Сены. А на том берегу и Латинский квартал, и дальше — бульвар Сен-Мишель, или, как его зовут парижане, Бульмиш...

Но это было давно. Теперь же я поспешил купить билет на архангельский поезд и в череде румяных мальцов и девчонок, отъевшихся на яблоках в южных краях и возвращающихся к первому сентября домой на север, среди их еще более румяных мамаш доехал до станции Харовск. Там меня встретили и отвезли до самого дома Василия Ивановича Белова, который, замечу кстати, известен каждому человеку в округе (небезызвестен он также и читателям книг в Париже).

Василий Иванович сидел у окошка в своей избе-тереме высоко над землей, над травой-муравой. Изба его широка в груди и плечах, из таких она срублена сосен, каких теперь и не встретишь в наших лесах. Первой моей мыслью было: «Ну как же вздымали-то эти леса столь высоко без подъемного механизма? Какие тут жили добрые молодцы-богатыри?..»

Хозяин открыл оконце, и лик его как нельзя более соответствовал обрамлению: крутолобый, с мягкой, льняной куделькой волос, обметанный сивой, малость рыжеющей бородой, с озерной синью во взоре... Шофер, доvezший меня до места, почтительно поздоровался с хозяином:

— Здравствуйте, Василий Иванович!

Хозяин выбежал к нам и повлек за собою по широким ступеням лестницы, сначала в сугтем сеней, затем и в просторные хоромы, в горницы, пахнувшие старой смоляной сосной.

Тесанные беловским дедом стены как затекли смолою без малого сто лет назад, так и остались медвяного цвета. Время превратило смолу в янтарь. Вдоль стен поставлены

лавки, отменно отполированные — не только современными сукнами с примесью лавсана, но и домоткаными юбками и портами давнишних жителей Тимонихи. Лавки эти такой ширины и длины, что можно на них и прилечь, и вытянуться во весь рост с устатку.

«Чтобы понять поэта, надо съездить к нему на родину». Кажется, так сказано у Гете. Ну вот, я приехал на родину поэта, вот и сидит у окошка на лавке поэт, Василий Иванович. И все идет как по писаному в этот момент приобщения к первоистоку, к почве поэзии,— все и написано уже: многие литераторы приезжали к Белову в Тимониху. Да и сам Белов написал немало о своей родине, вот об этой ее твердыне — сосновой избе.

Листаю книгу Белова «Холмы». Ее открывает записка, стихотворение в прозе «На родине». Я процитирую В. Белова — для тех, кто еще не читал его книгу, но главным образом для себя. (Где-то, помнится, я читал, среди наставлений, даваемых мэтрами литературы начинающей пишущей братии, что полезно бы сесть да и переписать от руки, ну, скажем, «Анну Каренину». Переписывание образцов высокой прозы приучает руку к высокому стилю...)

«И вот опять родные места встретили меня сдержанным шепотом ольшаника. Забелела чешуей драночных крыш старая моя деревня, вот и дом с потрескавшимися углами...

Из этой сосновой крепости, из этих удивительных ворот уходил я когда-то в большой и грозный мир, наивно поклявшись никогда не возвращаться, но, чем дальше и быстрее уходил, тем яростнее тянуло меня обратно...»

Я еще позволю себе цитату — из предисловия к книге «Холмы»: его написал Евгений Носов, курянин, побывавший, как я, в Тимонихе в некий необозначенный год...

«Вскоре открылась Васильева деревенька Тимониха. Разбежались вправо и влево леса, стало просторно и светло. Высокие теремные избы стояли на муравистом холме, у подножия которого увертывалась от лобастых валунов шустрая речушка с коричневой лесной водой...

В окне дома над вековой березой мелькнуло лицо, и вот уже на крылечко выбежала и прижалась к груди сына мать Анфиса Ивановна. Она выбежала босая, в простеньком платье, и лицо ее было удивительно просто — круглое, в девичьих конопушках, русые, такие же, как у сына, волосы мягко, будто платочек, округляли голову...

Ну конечно, была истоплена баня, и стоял на большом, скобленном, ничем не покрытом столе самовар, пеклись

бесподобные рыбники, подавались пуговичной величины рыжики, янтарное морошковое варенье, отдающее медом, а вперемежку с чаем баловались черникой с молоком, которую разлюбезная Анфиса Ивановна преподнесла нам в огромном деревянном лотке...»

Все так было и в этот раз. Только рыбники явятся несколько позже, после того, как мы с Василием сходим на озеро порыбачить и принесем окушков да сорожат. Я дивился домашней утвари, высоким сводам беловской избы, сельским яствам, которыми нас потчевала Анфиса Ивановна, но дивованье мое было, что ли, вторичным. Я об этом уже прочитал, каждой вещи в беловском доме назначено было место, составлен некий путеводитель, произведена опись, инвентаризация. И хотя, с одной стороны, я находился у друга в гостях, но, с другой стороны, чувство заповедности сего места не оставляло меня, я присутствовал будто в музее, где посетителю разрешено не только ротозействовать, но отчасти и приобщиться к реликтам, к быту патриархальных времен: насыпать из берестяной солонки горку соли прямо на стол, взять из чугуна картошку в мундире, нацедить из поющего самовара чайку, забелить его молочком...

Беловские предки, конечно, не ведали, что настанет такое время, когда их изба послужит пристанищем праздным потомкам, то есть праздным в том смысле, что для жизни не нужно им будет ни пахать, ни сеять, ни жать, ни в лес идти по дрова. (Изба настолько избыточно велика, что можно отпилить от нее полешко дров — не убудет. Так и решается проблема топлива в последние десятилетия. Избу опиливают, жгут на дрова, а она все стоит.)

Мы с Василием перешли из столовой в большой кабинет. (Есть еще один кабинет, вовсе уединенный, тихий, с маленьким, как в келье Пимена-летописца, оконцем.) В большом кабинете Белова тоже стояли лавки вдоль стен, и стол здесь большой. И еще поставлены — чинненько в ряд — две деревянные кровати, похожие на ладейки-бадейки, с бортами, с глухими спинками, сквозь которые ног не проденешь, коль перерос, — ау!

— Я как приеду в деревню, — говорил мне Василий, — так у меня даже зубы на место становятся. Как в городе поживу — зубы шатаются. Там такая вода. А здесь попью из речки воды, и зубы на месте. И голова не болит, и желудок нормально работает. И волосы не лезут... Но конечно, и без столицы тоже не проживешь... Каждый месяц приходится ездить...

Не прерывая своих разговоров, мы вышли на волю. Василий повел меня по деревне Тимонихе, по лугам, по холмам. Он потчевал гостя не только грибами с картошкой за ужином, но даже и воздухом, запахом, говором своей родины. Дул ровный, широкий, упругий ветер, нес капли дождя и предвестие близкой осенней стужи.

Мы ступали по мокрой траве, не выбирая дороги или тропинки. Перелезли через изгородь, сошли к тихой речке, там женщина полоскала белье.

— Ну че, девка,— девке было за пятьдесят,— как ребята-то твои?— спросил Василий.

Женщина распрямилась и обстоятельно отвечала:

— Старшие мои замужем, Василий Иванович, дак внучатки теперь со мной...— Женщина пела по-вологодски — ласково, мягко и скромно, как луговая птица. (И Анфиса Ивановна за столом тоже давеча пела: «Нога у меня к ночи затосковала, затосковала, дак я натянула на ногу-то варежку, и прошло».)

Василий заговорил со своей односельчанкой для того, чтобы я услышал голос ее, похожий на полевую песню. Однажды, помню, зашел у нас разговор о таланте, и Василий сказал: «Что такое талант? Я не считаю себя талантливым. Живущие со мной рядом люди, в моей деревне и в других местах тоже, гораздо талантливее меня. То есть душевно богаче. Русские люди вообще талантливы. Только их иногда не слышат, голос у них негромкий... Вот разве в этом и есть мой талант: услышать и запомнить. Ну, и потом написать...»

Мы вышли за околицу деревни Тимонихи. Ветер по-прежнему не убывал, еще не осенний, но уже и не летний, пропахший мокрой травой и листьями, березой, ольхой и елью (харовской резонансной елью), багульником, грибами, должно быть рыжиками. Ветер был осязаемо плотен и вкусен, настолько, что, казалось, можно откусывать его и глотать.

Навстречу попался мужик с бревном на плече, и разговор с ним возник сам собой, с той же естественностью, как если бы нам навстречу попался медведь и мы, само собой, неизбежно пустились бы наутек сломя голову.

— Ты чего сам бревно-то тащишь?— спросил встречного Василий.— Вон трактор ходит.

Мужик с облегчением сбросил бревно наземь и ответил, закуривая:

— Дак че, Василий Иванович, когда он еще пойдет... Так-то вернее будет. У меня вон погреб просел...

Мы вернулись домой, и Анфиса Ивановна рассказала последнюю новость-бывальщину. По привычке мне хочется употребить тут словечко из литературного ряда — «новелла». Анфиса Ивановна рассказала новеллу. Новелла была свежа, горяча, как пышка, взятая прямо с противня, из печи. У соседки Анны загуляла овца, и вскоре об этом прознали бараны не только в Тимонихе, но и в Печихе. Не стало отбою от кавалеров. Но в появлении на свет еще одного ягненка, в приросте своего овечьего стада Анна не имела ни малейшей экономической заинтересованности, поскольку наличных покосов и выпасов едва-едва хватало ей, чтоб с горем пополам прокормить двух овец и барашка. Запереть же загулявшую овцу в стайку не подымалась рука: овца бы вконец извелась, измучила бы всю деревню отчаянным своим блянием. И что же? Анна нашла радикальный и гениальный в своей простоте и, главное, собственный, доморощенный, не имеющий прецедентов выход. Она взяла и помазала ваксой — обычной сапожной ваксой — одно местечко на шубе овцы, и у баранов пропал интерес к гулящей особе.

— Ты бы мог такое придумать? — спросил Василий, взыскующе глядя на меня.

— Нет, такого мне не придумать.

— Ну вот, а ты говоришь... Таких сюжетов у меня здесь сотни. Сиди и записывай. — Василий будто на кого рассердился, не то на меня, не то на себя или еще на кого-то третьего.

— Да я ничего и не говорю.

— Я бы мог здесь подолгу жить... Вообще мог бы жить.

— Так и живи.

— Я один не могу. У меня семья в Вологде.

Так мы сидели и сидели, привычные к городской мере времени, а деревня уже спала, и Анфиса Ивановна отошла ко сну, чтобы встать раньше всех, затемно затопить печку, замесить тесто, испечь пироги. Ветер к ночи усилился, позвякивало стекло в окошке. И вдруг появился еще один звук, скребуший, царапающий, — где-то напротив, на уровне крыши.

— Это скворешня, — сказал Василий. — Я ее делал. Надо поправить. Пойдем.

— Да ладно. Темно. Утром поправим.

— Нет! Она будет вякать, я спать не смогу. Значит, плохо сделал...

Мы вышли в мокрые ветреные потемки, посвечивая фонарем, отыскиали тополь со скрипучей скворечницей. Василий полез на тополь, будто ему четырнадцать лет, а не сорок. Я направлял кверху свет фонаря, но он едва достигал нижних ветвей. Скрипение прекратилось, из тополиной кроны вывалился Василий Белов, съехал вниз по стволу и сказал:

— Ну вот. Теперь будет ладно. Я ее ремнем привязал.

И правда, сделалось ладно: дул ветер, обтекал монолиты изб, шурхал по драночным кровлям, и не было этого диссонансного звука, не вякало, не скрипело.

Ночь прошла в чересполосице сна, пробуждений, бессонницы; петухи заорали, когда утром еще и не пахло, следом за ними Анфиса Ивановна завозилась у печи.

Чуть свет я вышел из дому, увидел за ближней околицей поле, устеленное льном, и шибко идущую по нему молодую бригадиршу в белом плаще, с белеющими голыми икрами, с бригадирской меркой-рогулькой. Неподалеку, на соседнем бугре, виднелась деревня Лобаниха с церковкой. У самого леса урчали два комбайна, дожинали клин ржи. По небу летели низкие облака.

Оглядев этот сельский пейзаж с приметами нови и старины, я направился полевой дорогой к лесу, и лес, как говорится, расступился передо мной и, соответственно, за спиной у меня сомкнулся. Лес был волглый, еловый, сплошь заваленный мертвыми чурками и хлыстами, опутанный лишаями. К прогулкам, отдохновению и любованию этот лес мало располагал. Но я все далее углублялся в него по вязкой дороге с тележной колеей — тут, видимо, ездят за сеном на дальние покосы или же за дровами. Я пристально вглядывался в ели, понуро стоящие по щиколотку в болоте. Неужто это и есть резонансные харовские ели — певучие деревья, столь высоко ценимые в музыкальной промышленности? Правда, они не имели сучьев, только бедные кронки с ржавеющей хвоей. (Это и ценится: цельность древесных слоев, не нарушенных, не пронзенных суками.) Птичьих трелей не раздавалось, да и не могли они раздаваться в такую позднюю пору.

На самой дороге народились ночью волнушки, румяные, крепенькие, кровь с молоком. Я быстро разделся, снял майку, завязал в ней лямки узлом — получился мешок. Принялся собирать в него волнушки. Других грибов в этом мокром еловом лесу не росло. Да и волнушки, едва я наладился их собирать, вдруг пропали.

Принес я Анфисе Ивановне малость волнушек, она всплеснула руками:

— Батюшки, надо было корзинку-то взять... Помню, Женя у нас живал, дак утречком соберется с удочкой, босиком, вот такусеньких принесет рыбешек, да и на сковородку, сам и жарить станет...

Василию Ивановичу что-то сей день немоглось. (Это я сам придумал такое словечко: «сей день». На севере бытует: «сей год». Выражение это напоминает о той поре, когда время не разменивалось на мелочь месяцев, дней и часов, а понималось целокупно: «сей год».) Сей день Василию Ивановичу немоглось потому, что вчера, во время наших ночных прогулок на дожде и ветру, он простыл. Но делать нечего — Василий Иванович принялся натягивать сапоги и собирать необходимые для рыбалки припасы, а именно чай, сахар, ну и, конечно, котел.

— Уху будем варить? — спросил он меня без заметного энтузиазма в отношении ухи.

— А, ладно, без ухи проживем.

— Ну, смотри.

Анфиса Ивановна, провожая нас на рыбалку, рассказала о том, как двое деревенских парней вот так же пошли порыбачить, только позднее, уже в октябре, на озере за береги уж были, первый ледок. Ушли и ушли. Хватились их, только когда уже радио замолчало: ребята-то где?.. Пошли на озеро с фонарями. Всю ночь круг озера бегали, звали — ничего. Утром на лодке поехали и нашли. Ихняя лодка воды полнехонька. Один уцепился за лодку, так и застыл. Еле пальцы разжали. Другой лежал поперек лодки. Видно, друг-то его хотел спасти, лодку к берегу гнал — и погиб.

— В озере у нас дно не держит, — сказал Василий. — Вроде бы дно есть, а и нет.

— Озеро у нас бездонное, да ветренное, с норовом, — сокрушалась Анфиса Ивановна. — Ой, смотрите, ребятаки...

— Мы-то местные, знаем, как к нему подойти, — успокаивал мать Василий. — А вот приезжих оно не жалует.

— Да и те ребята местные были...

Ладно. Пошли. Краем поля, мимо работающих комбайнов, мимо пасущегося телячьего стада, пробитой в кочкарнике тропой, березняками, еловой глухоманью, по тонким жердинам, перекинутым через ручьи. Деревя ступились, открылась большая вода — отнюдь не замкнутое озеро, которое можно обежать или переплыть сажен-

ками, а широченный плес с открытым горизонтом, с едва различимым в тумане тем берегом.

— Большая у вас вода!

— А ты что думал, у нас все большое. Лес большой, тайга. Избы большие. Поля, я помню, тоже большие были, теперь ольхой заросли... Только мужички у нас не шибко большие. Почва худая, подзол...

Мы разговаривали, сидя в «станке», в беседке квадратного сечения, эдак метра два на два, о четырех тонкомерных столбах, с дощатой кровлей, с полом и бортиками, но без скамеек, у самой воды. Надобность станка именно в этом месте была очевидной: то и дело припускал дождь; облака уносило ветром — ветер здесь дул, как надлежит ему дуть над большой водой.

Но сколько в станке ни сиди, спасаясь от ветра за бортиком, надо и делом заняться — тем делом, за коим пришли мы сюда. Василий сыскал весло, столкнули мы на воду лодку, долбленную из не очень толстого осинового ствола. Я попробовал с берега, то есть не с берега — с кочки плавучей, есть ли у озера дно. Дна не было, весло уходило в жижу по самый черенок.

Василий сел в лодку, я придерживал лодку за нос, готовый ее отпихнуть или тоже сесть, как скажет Василий. Я видел, что лодка едва ли бы нас удержала двоих, и пример тех двоих, не доплывших до берега, придавал здешней местности, озеру, нелюдимым его берегам трагическую, что ли, окраску.

— Вдвоем уплывем ли?— спросил я Василия, зная, что не уплывем, и все же готовый уплыть.

— Нет, парень,— сказал Василий.— Лодка худая, верткая.

Он поворотил лодку носом в озеро и поплыл, перенося весло с борта на борт, гребя несильно, неслышно. У берега озеро поросло трестой, и в сивой тресте, в тумане, в сумерках предосеннего ненастного дня лодочник скоро исчез совершенно. Не стало его, хотя, казалось, куда ему деться. Сколько я ни вглядывался в затушеванную, размытую, серо-белесоватую озерную муть, ни черной точки в ней не было, ни запятой, только моталась под ветром треста и далеко-далеко чуть виднелась полоска сизой открытой воды. И сделалось мне до того тревожно за рыбака, что даже сердце заныло.

Я принялся искать дровишки для костра, но дровишек здесь не было никаких, деревья росли далеко — да и то березки волглые. Кругом простиралось болото — вересо-

вые кочки. Я наломал тресты — соломы, метелок, — ободрал березовый ствол и, обследуя местность, сыскал остатки бывшего некогда здесь станка — обомшелые доски и бревна. Потюкал топориком, нащепал лучинок, чтоб чай вскипятить. Костерик сразу же загорелся, но бледное его синеватое пламя, видать, плохо грело, хотя лизало оно котелок, но вода не могла закипеть, не хватало калорий. Казалось, вот-вот, котелок начинал уже булькать, но огонь опадал, не оставляя по себе даже углей. И опять я отесывал старые бревна, это меня отвлекало от мыслей о рыбаке. И опять не хватало калорий...

Мне именно вспомнилось это словечко — «калория». Всплыло в памяти, как пузырек из недр котелка на поверхность под действием неспорого огня.

Во время оно жила в Ленинграде актриса-чтица Ксения Ксенина. Ее звали и вправду Ксенией. Фамилию же она себе придумала, как это принято было у актрис. А время было такое, когда не хватало не только еды, но и дров, год, наверное, сорок шестой. И Ксения Ксенина (ее девическая фамилия Титова, она старая дева) всегда, постоянно мерзла. И приходила она к нам погреться, поскольку в детские годы жила в том самом городке, где жила моя мама, — в маленьком уездном городке среди лесов, болот, озер, льяных полей, в Новгородской губернии. Вместе они учились в гимназии и дружили.

В семье Титовых было трое девиц, три сестры: Евгения, Ксения, Александр. Глава семейства Титов служил в уездном городке податным инспектором, и должность эта давала ему многие преимущества перед другими жителями уезда. Податной инспектор имел выездную пролетку ли, тарантас — не знаю — и, соответственно, коня к тарантасу. И еще он держал у себя на усадьбе, для утехи потомства, ослика. Мама моя, и мамина сестра, моя будущая тетушка, и безвременно овдовевшая бабушка стояли в имущественном положении на тамошней лестнице значительно ниже Титовых. Однако сестры дружили — уж не знаю, кто более с кем, — и дружбу свою не забыли с годами...

Евгения с Александрой после революции стали учительницами словесности (и тетушка моя тоже), вышли замуж, обзавелись детьми. Ксения пошла в актрисы и коротала свой век в девках. Была она в юности, по описаниям моей мамы, хороша, густые свои русые вьющиеся во-

лосы заплетала в косу, большие, синие, немножко навывкате, с поволокой глаза исконной русской красавицы служили предметом томления и восторга в среде уездных ухажеров. Только фигуру ее, в общем статную, малость портили ноги, без должной стройности форм, косолапые. Надо думать, на сцену Ксения выходила в длинных черных вечерних платьях, и недостаток ее фигуры был полностью скрыт.

Я встретился с Ксенией, когда ей было уже к сорока. Ноги ее отекали в блокаду от голода и вовсе стали как чурки. Но ей это было теперь все равно. Правда, она еще выступала в каких-то концертах, ездила на какие-то гастроли, во всяком случае говорила, что выступает и ездит. Не знаю. Главной страстью ее, то есть иллюзией страсти, а стало быть, иллюзией жизни, сделалась выпивка. Денег на выпивку Ксения не имела, и в нашем доме, как, очевидно, еще в каких-то домах, она появлялась с единственной надеждой выпить. Мама ей наливала рюмку, потчевала всякой своей стряпней, но Ксения не закусывала, чтобы «не осквернять поэзию выпивки прозой жратвы». Она просила налить еще одну рюмку, мама спорила с ней, но всякий раз уступала.

После первой рюмки Ксения оживлялась, предчувствуя рюмку вторую и стараясь ее поскорей заслужить: вставала, прислонялась к печи и читала стихи, должно быть коронный и, может быть, даже любимый номер своей программы. Она читала «Зодчих» Дмитрия Кедрина. И к последней строфе ее голос срывался, хрипнул, глаза наполнялись слезами:

И в обжорном ряду,
Там, где заваль кабацкая пела,
Где сивухой разило,
Где было от пару темно,
Где кричали дьяки:
«Государево слово и дело!»—
Мастера христа ради
Просили на хлеб и вино.
И стояла их церковь
Такая,
Что словно приснилась.
И звонила она,
Будто их отпевала навзрыд.
И запретную песню
Про страшную царскую милость
Пели в тайных местах
По широкой Руси
Гусяры.

Ксения оязательно напивалась. Но сколько бы ни напивалась она, боязнь замерзнуть, оставшаяся с блокадных зим, не покидала ее. И она собирала лучинки, щепки, бумажки, рыбы косточки, даже тряпки. И уносила с собой этот хлам. И каждую щепку, и каждую кость называла любовно — «калория».

Случалось, я отводил ее домой, нес сверток с «калориями»; и дома Ксения благоговейно развертывала его, становилась к печи на колени, складывала «калории» в топку, чиркала спичкой, и, когда загорался в печи огонь, она протягивала к нему руки — они просвечивали, как неживые, — и говорила мне умиротворенно:

— Ну вот. Теперь можешь идти. Теперь все в порядке. Калории согреют меня.

Другого света, кроме огня в железной рифленной печиголландке, в комнате Ксении не было. Я смотрел на коленапреклоненную женщину в смутных подвижных бликах огня, окруженную мраком и стужей; мрак и стужа будто слежались пластами, окаменели с зимы сорок первого года...

Ксения перестала к нам приходить так же внезапно, как появилась. Она пришла из небытия, в небытие же исчезла.

В первые годы после войны я видел, не умея, конечно, понять, таких женщин, как Ксения, с похожей судьбою — отчаявшихся, сломленных, не способных бороться с жестокостью, одиночеством, в предвидении еще большего одиночества старости спивавшихся и погибавших...

Ветер все дул, чай мой не закипал. Василий не показывался на озере. Я подошел к самой воде и что было сил заорал:

— Вася-а-а!

— У-уу! — донеслось с озера, и вслед за тем показалась черная запятая-точка, зашевелилась, увеличилась. Я кинулся рубить, терзать бревно, разложил большой костер, и чай закипел как раз в то мгновенье, когда лодка мягко ткнулась в береговую кочку.

Василий пробыл на озере, должно быть, часа два, и то ли его лицо потемнело, то ли поголубели глаза — они заметнее стали, и читалась в них явственней, что ли, строгость души. Светлые волосы облепили его просторный выпуклый лоб. Василий рыбы поймал не много, но и не мало, изрядно: окушков, сорожат. И, сознавая цену своим рыбацким трудам и улову, сказал, усмехаясь:

— Рыбка у нас не больно... Не то что где-нибудь там... Все больше сороги... Но ничего, тоже рыба... Надо было луку-то взять, картошки. Уху бы сварили. Я говорил, возьмем, а ты — нет...

— Ладно, вон чаю поьем.

Попили чаю и двинули к дому, и первое, что увидели, когда вышли к околице деревни, был новый скотный, или, вернее сказать, телячий, двор — весь в огнях. Сама деревня будто потупилась, скромно отодвинулась на задний план. Мерцание света в редких ее окошках не могло сравниться с щедрым, без экономии, освещением скотного двора.

— Как все равно отель, — сказал я.

— В последние двадцать лет, — сказал Василий, — я не помню, чтобы в какой-нибудь из наших деревень построили дом. Чтобы окна зажглись... Для скота помещения строят, а люди уходят...

Тут, в этом месте, давайте вернемся к цитате из книги Белова «Холмы», которую я приводил в начале рассказа: «Из этой сосновой крепости, из этих удивительных ворот уходил я когда-то в большой и грозный мир, наивно поклявшись никогда не возвращаться, но, чем дальше и быстрее уходил, тем яростнее тянуло меня обратно».

Уходят, чтобы вернуться, — известная, хотя и парадоксальная истина. Василий Белов вернулся. Покуда его попрекали на страницах печати в приверженности к «истокам» и убеждали в том, что прогрессивна и исторически неизбежна именно ломка «сосновых крепостей», переселение народов от «истоков» к «устьям», тем временем бульдозеры помаленьку (скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается) прокладывали сквозь болота и еловые чащобы дорогу — большак. И нынче можно доехать из Вологды до Тимонихи и Печижи. Я ехал по этой дороге, видел. Дорогу строят, чтобы ездить по ней в два конца. «Сосновые крепости» строены на вековечную жизнь, и расставаться с ними, ломать их и жечь, бросать политую дедовским, отцовским и материнским потом, хоть и не больно щедрую, но отзывчивую на труд землю, быть может, кому-нибудь и легко...

Впрочем, Белов, хотя и не застрахован от критики, не нуждается и в защите, ибо сам все сказал за себя. Он — писатель открытый, в его нравственном и художническом кредо нет двусмысленностей, обмолвок и умолчаний.

Пусть лучше и выскажется Василий Белов по затронутому вопросу, раскрою еще раз — благо рядом лежит —

его книгу «Холмы» на последнем рассказе «Бобришный угор»...

«Наверное, отчуждение родины всегда начинается с холодного очага. Я помню, как судьба вынудила мою мать уехать из деревни в город и как сразу страшен, тягостен стал для меня образ навсегда остывшей родимой печи. Тиль Уленшпигель на всю Фландрию вопил о пепле Клааса. И гёзы собирались на этот призыв со всей Фландрии. Мне же вопить не позволяет совесть, хотя и в мое сердце стучит пепел: на наших глазах быстро, один за другим, потухают очаги нашей деревенской родины — истоки всего.

И хотя мы покидаем родные места, все-таки мы снова и снова возвращаемся к ним, как бы ни грешили знакомством с другими краями. Потому что жить без этой малой родины невозможно. Ведь человек счастлив, пока у него есть родина...»

Назавтра солнышко осияло здешнюю землю. По осиянной земле, по траве, по стерне я и отправился сразу же после завтрака, взял с собою лукошко, и дал мне Василий ружье, курковую тулку, и три патрона к ружью.

Дойдя до опушки леса, я вложил патроны в стволы, и тут же из можжевельных кустов выпорхнул выводок тетеревов. Я сделал стойку по выводку, как старый, добрый английский сеттер, сам и скомандовал себе: «Вперед!»

...Тетерка билась в траве, я взял ее в руки и вдруг почувствовал странность и дикость содеянного мною: сердце птичье лупило с той же отчаянной смертной тоской, с какой бы, наверно, лупило мое сердечко, если б к нему приставили автомат или другое оружие — за здорово живешь...

Вышел к озеру, отыскал весло, столкнул на воду лодку. Плыть вначале было легко и счастливо: треста гасила волну. Зато на открытой воде ветер вдруг взбеленился. Лодка сидела низко, воду стало заплескивать через борт. Волна шла с белым барашком. И не успел я опамятоваться, как унесло мою осиновую скорлупу на самый стрежень и стал я, ну, не тонуть, во всяком случае озираться...

Повернул лодку на ветер, кое-как, слава те господи, выгреб, зашелестела трава о борта. Возвратился к станку, смотрел на озеро, на тот недостижимый берег...

Костер не ладился, чай не кипел, и я опять спихнул на воду лодку, правил вдоль подветренного берега. Долго ли, коротко ли плыл, но озеро обогнул; в самом дальнем его

углу, в заводи, стояла на якоре плоскодонная байдара, в байдаре сидели два рыбака, мальчишка и парень. Они настолько углубились в задумчивость рыбачества и так неожиданно было для них появление человека на этом пустынном озере, что они даже подпрыгнули в своей байдаре, когда я сказал:

— Ну как, ребята, клюет?

Не в силах сладить с глубоким оцепенением, ребята ничего не ответили мне, ни гу-гу.

...Теперь я плыл вдоль наветренного берега, того, что недавно казался мне недоступным. Из воды высовывались сучья подмытых и павших в озеро сосен и елей. К берегу подступала чащоба. Я описал по озеру полный круг, вернулся к станку. Лежал, заслоненный от ветра бортиками, видел большое пространство неба. Солнце зашторила туча, и сквозь тучу прорезывались лучи, они походили на пучки прожекторного света, будто свет посылали не сверху, с неба, а снизу, с земли; потоки света сходятся в туче, и туча перенасыщена, зыблется... Вот и распалась совсем...

Василий ждал меня у избы, сидел на бревне и курил. Взглянул на меня, по своему обыкновению, несколько су-меречно, но в то же время и светло, сказал:

— Я уж тебя искать собрался... Баня истоплена. Ты как, париться любишь?

— Люблю.

— Ну дак чего? Пошли.

Мы пошли и попарились. И вся нехватка тепла, калорий — в связи с поворотом лета на осень — возместилась сторицей. Василий охаживал меня веником, новым, прямо с березы. Себя же он сам и стегал.

За ужином я спросил у Василия о резонансной харовской ели, знают ли местные люди особые свойства и ценность своего болотного сокровища с чахлой хвоей.

— А как же,— сказал Василий,— вот мы парились в бане, ей уже семьдесят лет. Ее срубили из мелко-слистой, как ты говоришь, резонансной елки. Другое бы дерево сгнило давно — от перепада температур и от сырости. А в нашей бане даже нижних венцов не меняли. В ней парься еще хоть семьдесят лет.

...Ну вот, пожалуй, и все. Можно ехать домой. Можно поставить точку в последней главе — путешествии на родину харовских резонансных елей, из которых делают деки для пианино. И еще строят бани.